

Памяти В. Я. Стоюнина¹ (К 25-летию со дня смерти)

Четверть века со дня смерти одного из самых популярных русских педагогов останавливает на себе внимание — не только потому, что хочется вспомнить, почувствовать, пережить, внутренно соприкоснуться еще раз, хотя бы в памяти, с русским идеалом прежних дней, — но и потому еще, что четверть века это большой срок для того, чтобы подумать о судьбе нашего идеализма за это время, а может быть, и шире — вообще о его судьбе и задуматься над тем, что есть сейчас.

Я с робостью начинаю говорить о Стоюнине, потому что с ним связывается всех нас слишком много личного.

Я всегда чувствую, что он среди нас — и это чувство особенно сильно в такие минуты, как сейчас. И то, что я скажу сейчас о нем, конечно, не все, что можно о нем сказать. Я хочу напомнить сегодня о Стоюнине только с тех сторон, которые, как мне кажется, делают его особенно близким нам теперь, в наше время.

Я не знал лично Владимира Яковлевича Стоюнина — и не мог знать. Он умер задолго до того, как я начал заниматься в гимназии, которую он первый вдохновлял своей душой и своим трудом. Я, конечно, знал об нем и читал его книгу «О преподавании русской литературы» и некоторые из его учебников. И у меня было к нему то почтительно-далекое отношение, какое всегда является, когда с человеком соприкасаешься издалека, через книгу, как бы она ни была внутренне близка. Из всего множества книг, которые я перечитал перед тем, как начать преподавать, чтобы хоть немного понять, что это значит, книга Стоюнина была единственной, которая произвела на меня впечатление, и я до сих пор продолжаю считать ее единственной из всего, что у нас писалось по вопросу, как преподавать этот самый родной нам всем, но потому-то и невозможный по трудности, предмет — русскую литературу. И все-таки, несмотря на мой интерес к его книге, я знал хорошую книгу, но не чувствовал еще человека.

Когда я начал давать уроки в гимназии, я с первых слов услышал от Марии Николаевны Стоюниной его имя. Она называла мне это имя с первой нашей встречи, она упоминала об нем постоянно; она ставила мне его каждый день в образец, в идеал. Вы поймете, какое жуткое чувство у меня было, хотя М^{ария} Н^{иколаевна} с самого начала сравнивала меня с В^{ладимиром} Я^{ковлевичем} — не с тем, чтобы указывать мне на мои недостатки, и поддерживала меня, как мало кто поддержал меня в жизни. По мере того, как я овладевал своей работой, жуткое чувство исчезало, и мало по малу уже не книга, а сам В^{ладимиром} Я^{ковлевичем} стал для меня невольным образцом, который ожил для меня в воспоминаниях Марии Николаевны — одной из его благороднейших учениц, — стал уже не только

¹ Речь, произнесенная на годичном акте гимназии М. Н. Стоюниной 25 окт. 1913 г.

автором хорошей книги, но живым существом, в кого я поверил, как в своего учителя; я стал всегда считаться с ним; на своих уроках я стал думать о том, как отнесся бы к тому, что я делаю, Стоюнин. И мне казалось, что в том только случае мои уроки станут действительной необходимостью для гимназии, если традиции ее первого руководителя в преподавании литературы скажутся во мне, если я их продолжу. Я не думал о том, сравняюсь я или нет со Стоюниным; понимал я, конечно, и то, что у всякого времени свои уклоны; но я думал только о том, чтобы войти в дух того дела, которое делал В^{<ладимиром>} Я^{<ковлевичем>}, потому что этот дух я почувствовал, как родной для себя, когда я читал его книгу.

В чем культурный смысл этой его книги, первой, в которой Стоюнин нашел свою педагогическую личность? Он писал много — и все, что он писал, было всегда очень продумано и сознательно. Ему принадлежат превосходные по общественной силе статьи на общие педагогические темы, несколько образцовых учебных и научных изданий. Он сделал многое, не ограничиваясь одним преподаванием, для русской школы вообще и в особенности для женского образования, и его имя будет всегда произноситься рядом с именами Пирогова и Ушинского. И все-таки ни в чем так прямо и непосредственно, как в этой книге, не выразился он во всем своеобразии своей педагогической личности. Все остальное было словно бы ее воплощением, хотя тема ее, по-видимому, касается частного вопроса — преподавания одного из предметов.

То, что Стоюнин был преподавателем русского языка и литературы, — не случайность и не одна формальная подробность. В истории русского общественного развития это имело огромное значение, как великое, необыкновенное, исключительное значение имела вся наша литература. Прошло более полувека с тех пор, как Стоюнин начал давать свои уроки русского языка и литературы в петербургской 3-й гимназии, и наша жизнь с тех пор широко развернулась, и наша для себя, несмотря на все препятствия и ограничения со стороны климата, пространства и правительственной власти, множество и разнообразных путей развития; но в те годы, когда начинал свою жизнь юноша Стоюнин, стать преподавателем литературы — это значило в высшей степени почувствовать дух того времени и его потребности. Это значило — ответить на очередную потребность нации. Недаром понятие нации, чувство национально-общественных требований — жило в нем сильно и было основой всех его рассуждений на общие темы. Собственно, Стоюнин никогда не теоретизировал отвлеченно педагогически; он всегда исходил из необходимости жизни, из понимания исторических обстоятельств — и в этом одна из лучших особенностей его педагогического идеализма.

Как слагалась наша история? Какие ее пути? Каким концом должна тронуть русскую жизнь русская образованность, русское воспитание — в данную историческую минуту? Вот вопросы, которые он решал с тех пор, как дал себе внутреннее согласие стать педагогом.

Восстановляя его живой облик, М. Н. Стоюнина много раз говорила мне о том, что В^{ладимиром} Я^{ковлевичем} не думал, что будет учителем (тоже в образец мне, так как я и не думал, что стану преподавать). М^{ария} Н^{иколаевна} говорила так: «Он был просто живой и талантливый человек... талантливый вообще»... Я много думал по поводу этих слов. На самом деле — что есть люди, способные быть учителями и не способные, это очевидно. Но что это за способности? как почувствовать их в себе заранее?

«Просто живой и талантливый человек...» Но ведь есть же педагогические приемы, умение обращаться с детьми, умение учить, влиять на них? Да, конечно, есть! Но может быть, именно живет только то педагогическое дело, где педагог — живой человек. А если он при этом человек и вообще талантливый, то дело его не только живет, но и горит, и зажигает. И действительно — не приложится ли умение и обращаться с детьми, и учить, если этот огонь зажжен?

II

В^{ладимиром} Я^{ковлевичем} был живой и талантливый человек, но долго не находил себя. Он не хотел сначала, не думал, что станет учителем.

Его толкнули на это другие и случай. Но, сделавшись учителем, он сразу понял, какая в этом была в те дни историческая необходимость. Первые его увлечения были не общественные, а художественные — до страсти, до самых наивных преувеличений. В характеристике, которую М^{ария} Н^{иколаевна} еще на днях давала мне, он был человеком, способным увлекаться именно искусством, со страстью отдаваться этим увлечениям, будь это поэзия Байрона или Пушкина, новая опера, появление новой драматической актрисы, балет с выступлением любимой балерины, или — нечто совсем противоположное по смыслу — картина Крамского «Христос в пустыне». И в то же время не много людей, даже в то народолюбивое и способное к гражданственности время, так тревожилось за судьбу своего народа, так предавалось порывам того гражданского идеализма, того гражданского гнева.

Кончив гимназию и не зная еще, что выбрать, он поступил на восточный факультет. Думая о своей будущности, он мечтал о службе в посольстве, где-нибудь на поэтическом востоке, мечтал и о литературной деятельности, даже о поэтической, восхищался Гафизом, наряду с Пушкиным и еще модным тогда Байроном. Семейные обстоятельства вынудили его скорый искать места, друзья отговаривали его при этом отдаваться литературе — и толкали в школу. Он колебался и спорил, но, наконец, стесненный обстоятельствами, послушался и пошел в школу, и в школу то и понес свою литературную страсть, свою любовь к литературе — со всем, что во всякой подлинной любви заключается: с верой в исключительную важность предмета своей страсти для общества.

Воспитанный, как и все тогда, на синтетических идеях Белинского, он сливал в своем сознании задачи литературы и общества в одно. Начиналась Крымская война. И он заранее соединился с начинавшимся освобождением, волновался тем, что происходило вокруг накануне реформ, как своим личным делом, — и невольно все более вносил в свою художественную страсть общественное возбуждение. Он не понимал жизни без развития литературы вне общества; и это слитное ощущение двух стихий — художественной и общественной — и выразилось впоследствии в лучшей из его книг «О преподавании русской литературы». И в этом-то ощущении лежит своеобразие того метода, который Стоюнин вносил и своей книгой, и своим преподаванием — метода, которым с тех пор и отличается наша русская школа от всякой другой. В этом методе чувствуются веяния и Белинского, и Григорьева, и Добролюбова — типичных, хотя и очень разного настроения, русских людей, сходящихся в одном — общественном отношении к литературе; веяния всей истории русской критики от Белинского и до наших дней, порожденные той глубокой верой, что литература — не только игра и восторги, но и совесть общественная.

С такими настроениями вошел Стоюнин в школу в начале 50-х годов, не оставив еще совершенно своих надежд на писательское призвание, не зная еще, будет ли он всю жизнь педагогом, но уже зная тот метод, который он вносит в русскую школу впервые и в прямом соответствии с духом русской литературы и общества.

Литература и общество неразделимы — основной принцип этого метода. Литература есть величайшее проявление общественного развития. Изучая литературу, мы тем самым изучаем общество. Художественное изучение литературы есть вместе с тем изучение общественное. В литературе нация сознает себя — и художественно, и общественно. Изучать литературу это значит изучать самую жизнь — и с тем вместе сознавать себя, как часть великого национального целого, понятого в смысле общественном.

Это слитное ощущение идет не только от Белинского, но и от Пироговских «Вопросов жизни», перед которыми Стоюнин благоговел. «Вопросы жизни» Пирогова и книга Стоюнина — явления одного духа, одного волнения.

Преподавая литературу, учитель решает со своими учениками или ученицами — вопросы жизни. Он не только дает им знания, но и развивает их. Учитель словесности есть учитель жизни. И Стоюнин, действительно, стал таким учителем жизни...

И здесь я опять задаю себе вопрос: разве ничего больше не должно было родиться в его душе для того, чтобы стать учителем — кроме страсти к литературе и инстинкта общественного?

Как писатель, он был готовым человеком, если он любил литературу и верил в нее общественно. Достаточно ли этих побуждений — для педагога? Конечно, школа есть явление общественное, как и литература, — но разве достаточно подготовлена душа человека для влияния на детей при этих двух свойственных писателю волнениях — при такой страсти к поэзии и в веру в

общество? Он был живой и талантливый человек, но всякое свойство может быть самым стать учителем? Ведь школа требует прежде всего любви к детям, с какими бы литературными восторгами в нее ни приходить, сколько бы ни чувствовать себя частью общественно-национального целого. Невозможна действительная любовь к литературе без любви к людям. Невозможно живое национально-общественное чувство без этой любви. Но школа отличается тем от литературы и от любого общественного дела, что всякий входящий в нее должен войти в нее не только с любовью к людям, но с любовью именно к детям. Вот разница. Вот чем педагогическое дело так отдельно стоит от всякого остального в жизни! Школа первая из всего — требует любви, педагогия есть любовь к людям по преимуществу, потому что она есть любовь к детям. С другой стороны — я задаю последний и самый общий вопрос: возможна ли любовь к людям без любви к детям? Я не верю в такую возможность — и думаю, что потому-то величайшая проповедь любви к людям и Бога понимает, как Бога Сына, которого Отец послал к людям из любви к ним — как детей. И потому христианство есть единственная из всех на свету проповедь любви к людям, что в нем одном так настойчиво говорится о любви к детям, как о самом таинственном из всех дел жизни.

На вопрос: есть ли любовь к людям в том, кто не любит детей — я всегда отвечаю сомнением. Я не верю в любовь к людям в том, в ком нет любви к детям.

Так решил я для себя вопрос, что это значит: «он был просто живой и талантливый человек» — и потому мог стать педагогом». Постольку он был живой человек, поскольку в нем была любовь, и в том то сказалась его талантливость, что, войдя в школу, он любовь к людям обратил в любовь к детям. И с той минуты, как это внутреннее обращение совершилось, он стал педагогом.

Я всегда чувствовал в книгах Стоюнина все эти три стихии, составлявшие его педагогическую душу: страсть к литературе, веру в людей и любовь к детям — в таком неразделимом единстве, что, читая ее, прежде всего переживаешь это единство, не отдавая себе отчета, в чем его значение.

Страсть к литературе, как я уже сказал, была у Стоюнина — первая, проснувшаяся в нем. Чем питалась эта страсть, я также уже называл: верой в общественную необходимость литературы, верой, выше которой только сама религия — высочайший и уже последний дар, даруемый человеку. Эта вера в необходимость литературы для общества была воспитана в Стоюнине всей его эпохой — эпохой, когда русские люди впервые были очарованы чарами русского языка и образности в стихах и прозе Пушкина и его школы, когда трепещущим выражением этой очарованности явилась критика Белинского; когда русская общественность все властительнее звала эти чары в самую (как говорят почему то и до сих пор с пренебрежением) — «текущую жизнь».

Вера в нацию, приподнятая оскорбительным исходом войны, обещанием правительства наконец освободить крестьян, надеждой на освобождение всего общества, разливалась тогда в таких несдержанных порывах, что с трудом можно было различить, где в этих порывах кончалась

область литературного искусства, и где начиналась сама общественность. Но Стоюнин сохранял всегда равновесие — само педагогическое сознание, уже совершенно подчинившее его себя; в эти годы. Среди тех крайностей, тем более соблазнительных, что они были иногда удивительно талантливы (напр., Писарев — его же ученик по 3-ей гимназии), крайностей, в которых слышалось начало нашей общественной грозы, не кончившейся еще и до сих пор, — Стоюнин сохранял свое цельное и слитное чувство: любви к литературе и веры в общество, соединившееся в нем теперь с любовью к детям. Эти крайности, когда, например, «разрушали эстетику», были крайности, при всей их страсти, — идеальные, а Стоюнин не колебался и не впадал в крайности потому, что живой человек, став педагогом, прежде всего живя своей любовью, а не идеями. И эта любовь к детям сохранила ему правду, ту правду, во-первых — что выше этой любви ничего, а во-вторых — что в служении ей преодолеваются все соблазны.

III

Высказывая свои общие педагогические взгляды, Стоюнин чаще всего говорил о необходимости для педагога самовоспитания. Это суровое требование кажется сухим и аскетическим в своей суровости, напоминая немецкие и английские секты XVII—XVIII веков. Но Стоюнин не высказывал этим ничего преувеличенного морализирующего, — будучи живым человеком. И действительно: как же, сохраняя в себе живого человека и в то же время любя детей, воспитывать их, не преодолевая постоянно в самом себе то, что нельзя привносить детям, если их любишь. В живом человеке есть все — и добро, и зло; педагог — живой человек, — а детям надо привносить добро!

Любовь есть душа воспитания, его исходная точка, его смысл. Ее определяется все: она и есть единственная мера оценки в педагогическом деле, которое слишком часто превращается в подвиг. Любовь к детям — не сентиментальная, слезоточивая и медоточивая, стало быть, манерная и лицемерящая, но такая, которая видит в детях не только самостоятельные живые существа, но и будущих граждан, работников, матерей и отцов; и обратно, не только будущих взрослых людей, но и нечто самоценное — часть целого, часть всей жизни; в русских детях — часть русского общества и его будущее. Кто так любит их, тот будет думать так же, как Стоюнин: надо всегда себя перевоспитывать, воспитывая детей; а всегда перевоспитывать себя, жить в таком непрерывном, хотя и невидном, подвиге можно, только любя тех, ради кого себя преодолеваешь. Заниматься воспитанием — для живого человека это значит изменяться самому. Не только отдаешь, но и приобретаешь. И приобретаешь самое ценное из всех приобретений. В этой работе все сливается, все соединяется, все ведёт, при всей скромности ее — к высшим целям и близким, тем, которые вокруг нас, и самым дальним, предельным. И Стоюнин, одушевленный такой верой, был уверен при этом, что самой русской природой для общественно-национального воспитания

русских детей, а не отвлеченно нравственного, как за границей, предназначена у нас русская литература.

В этой уверенности и выразился тот особый идеализм, который давно уже стал типическим свойством нашего общества, только ему присущим. Что у нас есть общественные силы, но нет общества, — Стоюнин всегда болезненно ощущал, как Белинский болезненно чувствовал, что у нас есть литературные силы, но нет литературы. И так же, как Белинскому, это ощущение причиняло ему национальную боль.

Он хотел вызвать общество, как живое единство, как развивающуюся нацию при помощи изучения литературы. Это был целый замысел образования общества из литературы.

Так как критика Белинского совершила свой подвиг и придала разрозненным силам единство, слив понятие литературы и общества, то Стоюнин и решил, что русская литература, созревшая у нас раньше общества, должна вызвать его, разрозненным силам дать единство.

Это был просвещенный и страстный патриотизм, в основе которого лежала идея нации, становящейся обществом, при помощи лучших из своих национальных достояний — литературы.

Вот культурная доля Стоюнина.

Если верно, что литература создается не только писателями, но и читателями, то верно и то, что она создается учителями словесности, готовящими читателей. Но у нас такие учителя, как Стоюнин, а он был первый из них, в это поверивший, способствовали не только развитию литературы, но они прямо ставили своей задачей: обучая литературе, вызвать на свет общество, которого еще не было. Как все люди 50-х годов, он слишком хорошо был научен, что значит это отсутствие, пережив сперва севастопольскую обиду, а потом, когда правительственные обещания исполнялись только отчасти, тягостную разочарованность...

Во всех этих случаях он переживал национальную боль.

Так легли в основу своеобразного метода преподавания русской литературы в наших школах, начатого Стоюниным и продолженного его последователями, два ощущения: одно — страстная вера в литературу, и другое — страдание за нацию, которая становится, но еще не стала обществом.

Стоюнин национален и ограничен в жизни русской общественности, и то, что он стал учителем русской словесности — не одна случайная подробность.

Нигде литература не вызывала такого поклонения, как у нас. Литература заменила нам давно уже школу, более того — культуру, потому что она была у нас единственным самостоятельным культурным событием, местом притяжения всех наших стремительных сил, чудо среди культурной пустыни. Мы стеснялись Европы до тех пор, пока у нас не появилась литература; до того во всем решительно Европа казалась нам выше нас. И эта гордость за свою литературу перед всем цивилизованным миром стала не только самомнением внешнего национального толка: мы не хуже нас, а то и

лучше; у нас не хуже Гете есть Пушкин, не хуже Шекспира — Достоевский! Нет, мы справедливо почувствовали себя не ниже соотечественников Гете или Шекспира по другой внутренней и существенной причине; в нас развились это чувство потому, что Пушкин, Достоевский, Гоголь, Толстой, Тургенев, Белинский — вошли в наше сознание, воспитали нас, претворившись в нашу культурную плоть. После них мы уже не те, чем были до них. Русская литература на самом деле питала нас; мы от нее росли, подымали выше наши головы, сознавали свое личное достоинство; грелись в лучах такого солнца, какое редко где светить, мы долго в нем только находили национальное утешение.

Вот, что понял всем своим и художественным, и общественным сочувствиями — одновременно и слитно, тот скромный учитель словесности, каким был еще в 50-х годах Стоюнин, понял то, что получило очень скоро самое широкое влияние. Сколько мальчиков и девочек, один непосредственно от Стоюнина, другие от его последователей, впитали в себя это сознание, — более того, ощущение, как прониклись им, как поверили в него — и передали его потом своим детям, будущим поколениям русских людей! Стоюнин сознал это одним из первых — тогда еще, когда солнце нашей литературы только что поднялось, когда оно только что породило такие восторги к себе, как восторги Белинского и Григорьева, такую гражданскую требовательность, о которой вскоре заявил Добролюбов.

Всех воспитывала тогда литература сама по себе, вне школы и мимо нее. Даже странно сказать воспитывала, когда она была солнце! Воспитывали и Пушкин, и Гоголь, и Лермонтов, воспитывала и критика. Но превратить литературу — в предмет общественного воспитания в школах было делом тех, которые уже подверглись ее жизненному влиянию, в предмет не отталкивающей учебы, но именно в предмет общественного воспитания, в том смысле, как это после Белинского понимали. Так Стоюнин первый открыл в школе окно, чтобы в него брызнуло солнце русской литературы. О том же, как школа нуждается в этом солнце, чтобы из нее вышло русское общество, как живое единство, как развивающаяся нация, он и рассказал в своей книге. И без этого солнечного света с тех пор не только темна была во всех смыслах наша школа. Русская литература, имеющая такое необычайное значение в нашем общественном развитии, — стала, благодаря Стоюнину и его последователям, основой нашего воспитания. Нигде преподавание литературы не приобрело характера такой жизненности, как у нас, — не только как предмет обучения родному языку, стало быть, предмет первой практической необходимости, но именно как предмет нравственного воздействия, — и не отвлечено нравственного, но именно общественного. Это стало с тех пор особенностью русской школы, такою же, как сама наша литература в ее исключительном влиянии на общество. Можно сказать, что в более скромной обстановке средней школы Стоюнин сыграл роль, подобную роли Грановского, создавшего для университета особый национальный тип профессора-воспитателя, проповедника идеализма. Такой же тип

преподавателя-учителя жизни начал собой Стоюнин для средней школы — учителя словесности, для которого словесность есть школа целой жизни.

Потом очень скоро, в 60-х годах, пришли новые педагогические волнения, не враждебные Стоюнину, увлекшие и его. И жизнь, и мысль, и образование выдвигали уже не одну литературу, но и естествознание. В то же время внимание к средней школе уступало место школе начальной, народной. Педагогическое возбуждение вообще было поразительное. Небольшая Пироговская статья, вдохновенно напомнившая о старых и вечных истинах всякого воспитания — объединила всех. Самый влиятельный критик того времени — Добролюбов интересовался столько же литературой, сколько и воспитанием. Самая его критика была столько же педагогична, сколько и литературна. Толстой увлекался народным образованием не меньше, чем литературой, и начал свою поэзию с психологии детства. Достоевский возвращал литературу к прежним временам, поднимая в ней неслыханно до того нравственную стихию, и говорил о любви к детям с такой силой, как никто до него. Популярнейший поэт своей эпохи — Некрасов превращал поэзию в посевы «разума и добра» и тоже говорил о любви к детям. Помяловский защищал детей в «Очерках бурсы»; Писарев внушал поклонение естествознанию и хотел влиять в этом направлении на университеты. Среди новых людей был и Ушинский, появляются первые учителя, увлеченные естествознанием, как открытием нового света, среди них — А. Я. Герд, 25 лет со дня смерти которого помянем также рядом с именем Стоюнина, так как и эта годовщина исполняется в нынешнем году.

Итак — эпоха, развернувшаяся в те годы, когда Стоюнин уже давно был преподавателем, раскрывала новые потребности. Но та культурная доля, которую Стоюнин внес в историю нашего общества, не была не принята новыми людьми. Напротив, она вызвала новых энтузиастов, и с тех пор эта Стоюнинская доля остается одним из отличительных свойств русской школьной жизни. До сегодня ли? Живет ли его дело в русской школе и в наши дни?

IV

Вот вопросы, которые нельзя не задать себе, но на которые я лично не могу, к сожалению, дать ответов обнадеживающих. Не все осталось по-старому, слишком многое изменилось, особенно в самое последнее время. Мы были бы не искренни, если бы стали утверждать, что в литературе хранятся прежние традиции, из которых исходил Стоюнин и люди его времени в своем литературно-общественном идеализме. С тех пор изменилось слишком многое и слишком решительно, и нельзя относиться безразлично и покойно к тому, что ждет нас впереди. Литература последнего времени до того иная, до того непохожая на прежнюю, что прежняя, чем более она уходит в прошлое, все больше представляется каким-то идеальным литературным бытием.

Как отнесся бы Стоюнин к современной литературе? Как быть нам с современной литературой в школе? Может ли она быть таким же предметом

общественно-национального воспитания, как та прежняя, с которой имел дело Стоюнин? Это вопрос страшно важный и не есть вопрос о судьбе только нашей литературы, но и о судьбе всей общественности. И мне просто страшно его трогать, когда подумаешь — неужели мы вступаем или уже вступили в какую-то совершенно новую эпоху, когда литература уже не может быть источником отроческого идеализма? Неужели мы вступаем в эпоху, когда заветная связь литературы, общества и школы распадается, или уже распалась?

Современный преподаватель литературы не может не чувствовать той бездны, которая легла между нашими литературными прошлым и настоящим, талантливо ли это настоящее или нет — все равно. Или судьба русского учителя словесности, когда-то передового из передовых людей, — превратиться в литературного старовера, взывающего о незабвенной старине, отворачивающегося от литературной новизны? Так, кажется мне, из недр русской педагогии подымается этот роковой вопрос, обращенный к русской литературе: как быть теперь литературе в школе, если литература будет все больше проникаться тем — идущим в сторону от путей воспитания, во всяком случае, слишком мягким, слишком потрясающим сердца духом — каким она проникается вот уже двадцать лет. Мы должны в этом открыто сознаться и глубоко над этим задуматься. Образ Стоюнина, как совесть, встает перед нами и спрашивает об этом — и что мы ей ответим? Пока у нас ответа нет... Но пусть же для вас в нашей истории навеки привлекательной остается та ее эпоха, когда идеалы литературы, общества и школы так органически соединялись в одно целое, что могли являться такие целые люди, каким был тот, кого мы сегодня поминаем, как один из неумирающих образов той эпохи, чьей душой создавалась гимназия Марии Николаевны Стоюниной, поверившей в его правду.

Страшно сравнивать наши теперешние дни с теми далекими, потому что среди нас немало тонко и глубоко чувствующих людей, но давно уже не слышно о больших и цельных людях. Я и не буду сравнивать, чтобы не омрачать сегодняшнего праздника осуждениями. Я только выскажу свою мечту — может быть — еще вернутся, еще будут.

И дай вам Бог увидеть их, дождаться!

Я высказал все, что думал сказать. Но я хотел бы еще, чтобы в заключение прозвучали для вас слова самого Владимира Яковлевича — как бы его живая речь, обращенная к Вам в напутствие. Пусть из этих его слов, с которыми он когда то обратился также к окончившим ученикам, встанет перед вами его живой облик, пусть вы почувствуете, что сегодня, в эту минуту он здесь среди нас.

Вот его слова на любимую его тему о самовоспитании — и ими я закончу свою речь.

«Обращаю мою речь к вам, с которыми мы сегодня прощаемся. Для этого мы все собрались сюда: пусть торжественнее для вас будет этот момент, которого вы давно-давно ожидали. Вы не будете сетовать, что я несколько продлю его: пусть он продлится, пусть

он запечатлеется в вашей памяти строгой мыслью: он действительно очень важен для вас. Он разделяет два периода вашей жизни: один протекший — период воспитания под надзором других; другой период самовоспитания и самообразования, о котором я теперь и хочу сказать несколько слов. Вы ждете воли, свободы; с нею соединяется мысль об удовольствии, веселье; это ожидание очень естественно для вас, но, отпуская вас в эту новую жизнь, мы не можем не сказать, что главная сторона ее еще не высказывалась перед вами и не могла занимать серьезно вашей мысли. Жизнь трудовая вам представлялась, может быть, только в работе на других для обеспечения своего материального существования; но она не представлялась в тяжелой работе над собою, над своею личностью, что мы называем самовоспитанием.

Не многие переходят к этой работе, окончив свое школьное воспитание; но за то немногие и устраивают сами себе счастье, которое по крайней мере наполовину зависит от нас самих. Чтобы оно было прочно, для него также нужно потрудиться, такого рода труд и есть самовоспитание. Оно требует прежде всего определения своей личности и в особенности всех своих недостатков, которые всегда являются нашими собственными, так сказать, домашними врагами. Для этого необходимо самое зоркое наблюдение над собою, самый строгий суд над своими поступками, наконец, медленная и долгая борьба с этими обнаруженными врагами, борьба, которая часто требует всех наших духовных сил».

Только такой труд над собою может научить нас владеть собою и идти твердо по пути добра и правды. Уже это одно составляет счастье, хотя мы со счастьем обыкновенно соединяем мысль о покое, а не об усилии подавлять в себе порывы грубых страстей, мысль о наслаждении, а не о труде; но великая душа находит наслаждение и там, где слабый находит только страх».²

Владимир Гиппиус.

² Из речи В. Я. Стоюнина к воспитанницам Московского Николаевского института (по рукописи).